



В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ

М. Ю. Лермонтов

Лермонтов погиб в 27 лет, но за недолгие годы сознательной жизни он все же успел проявить свой исключительный дар, приоткрыть все богатство его души. Чтобы оценить значительность художественного дарования Лермонтова, достаточно указать на то влияние, какое имел именно он на целую плеяду русских поэтов. Лермонтов был создателем русской романтической лирики — не Пушкин с его художественной и духовной трезвостью, с его умением останавливать творческие движения на пороге, за которым властвует чистая эмоциональная стихия. Пушкин был ясен во всем самому себе, был ясен и в поэзии — ему чужды полутона, чужда «нетерпеливая импровизация», он торжествует в своей трезвости над самыми острыми и жгучими переживаниями. Лирика же Лермонтова полна тех смутных переживаний, которые боятся духовной трезвости, не хотят полной прозрачности и пробуждают творческое вдохновение именно своей непосредственностью. В этом сила всякой романтической лирики, которая всегда боится растерять эту непосредственность и тем более боится той «гармонизации» душевных движений, в которой так глубок был Пушкин. Лермонтов постепенно восходил к духовной трезвости, следы чего можно видеть в созданиях последних лет жизни, — но только восходил к ней. Но он был слишком во власти того, что всплывало в его душе, — вообще, не он владел своими душевными движениями, а они владели им, владели и его художественными вдохновениями. Это создавало внутреннюю незаконченность в самом творчестве, создавало томление духа, к которому вполне приложимы известные слова из стихотворения «Ангел», — о душе самого Лермонтова можно сказать, что

Долго на свете томилаcь она,
Желанием чудным полна...

Но томление духа, внутренняя незаконченность тех душевных движений, которые зажигали творческое вдохновение раньше, чем они созревали до духовной прозрачности, — все это достаточно сознавал в себе и сам Лермонтов. Он писал в известных стихах «Не смейся над моей пророческой тоскою...»:

И хитрая вражда с улыбкой очернит
Мой недоцветший гений.

То, что волновало душу поэта, что часто преждевременно прорывалось наружу, — все это лишь частично выражало жизнь души:

Я не хочу (писал он), чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть, —
Как я любил, за что страдал, —
Тому судья лишь Бог да совесть.

Это сознательное закрывание самого себя было глубочайше связано с постоянной горечью, которою была исполнена душа Лермонтова, смысл и корни чего необъяснимы из его биографии. В горечи у Лермонтова есть что-то, я бы сказал, метафизическое — связанное с неукротимостью его души, с теми мотивами персонализма, какие он первый выразил в русской поэзии. Прав был Бицилли, когда писал о Лермонтове, что у него мы находим «новое мироощущение»¹, — но в этом новом мироощущении, которое отображало затаенные движения души, было искание своего пути через мятеж. Это, конечно, вовсе не ранние проявления русского ницшеанства (как находил Влад. Соловьев в своей недоброй статье о Лермонтове), — но это и не богоборчество, какое усматривал в Лермонтове Мережковский². Горечь у Лермонтова иногда переходила в мотивы богоборчества, — но даже образ Демона, над которым так много и так долго размышлял Лермонтов, уже полон томления и тайной жажды вернуться к Богу. По выражению Бицилли, Демон у Лермонтова — «существо кроткое и ручное». Вообще, склонность к мятежу связана у Лермонтова с тайной тоской о покое и о мире:

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой!

Склонность к мятежу гораздо больше говорит о том, что душа Лермонтова была сдавлена невыраженными или неосуществи-

мыми порывами, которые уходили вглубь души без надежды выявить себя. Отсюда и мятеж — смысл которого метафизичен, ибо это мятеж не против отдельных трудностей жизни, а против «коренной неправды в бытии». Это мятеж индивидуальности, жаждущей проявить себя, — и так загадочно, что и дальше, после Лермонтова, русский персонализм окрашен психологией мятежа, протеста. У Пушкина тоже есть жажда жизни («Я жить хочу...»), но у него всегда есть трезвость и смирение, а у Лермонтова в самом мятеже есть тоска («Как будто в бурях есть покой»). Добавим: Лермонтов (как и Пушкин) вольно ушел в светскую жизнь, которую он так презирал, но рабом которой он оставался. О том, что он думал об окружающем его обществе, он гениально сказал в замечательном стихотворении «На смерть поэта». Лермонтов задыхался в этой среде, но не умел отказаться от нее, — и оттого

И скучно и грустно — и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды.
А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
— Такая пустая и глупая шутка.

Лермонтов не был (как думал о нем Гоголь) «безочарованным» — он знал и радость, и силу очарования, он таил в себе бесконечную жажду жизни, — но с реальной действительностью, его окружавшей, он находился в постоянном разладе. Не удивительно, что мятежное состояние души все более сгущалось в нем, горечь от невыраженных тайных порывов все больше окрашивала для него всё. Но надо тут же отметить, что выход из этого тяжелого состояния души грезился ему только в красоте, в возможности припасть к ней и найти в ней то, чего не хватало душе. Напомним, как именно умиление перед красотой начинает в Демоне процесс примирения с Небом: когда он увидел Тамару и был пленен ее чарующей прелестью.

На мгновенье
Неизъяснимое волненье
В себе почувствовал он вдруг;
Немой души его пустыню
Наполнил благодатный звук,
И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты.

После беседы с Тамарой Демон говорит ей:

Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.

Это пока только движение воли, это еще не мир, не гармония в душе, но это почти уже решение, которое должно появиться в конце акта воли. Богоборчество Демона стало стихать от умиления, которое овладело им при виде чистой, невинной красоты. Но еще больше у самого Лермонтова его склонность к мятежу, доводившая его и до богоборческих переживаний, стихала под действием красоты. И прежде всего — красоты природы, как об этом говорит знаменитое стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива...»; созерцание природы смягчает горечь в его душе:

Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога.

Сближение же с людьми, к сожалению, вело к противоположным чувствам, — как его Пророк, Лермонтов читал в глазах людей

Страницы злобы и порока.

Скорбное и тягостное чувство от людей и их порядков ярко выразил Лермонтов в образе Мцыри:

Я мало жил, но жил в плену, —
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.

Сближение с людьми вызывает у Лермонтова отталкивание от них: страстная жажда свободы выражает основную, затаенную его мечту. Не мотив примирения с жизнью, с Богом звучит здесь, а потребность утверждения себя в свободе, в вольном творчестве,

в безграничной отдаче себя полноте жизни. Это есть вечный мотив романтического персонализма, который позже Достоевский подглядел даже у «человека из подполья» («хочу по своей глупой воле пожить»³). Отсюда пошла и русская лирика — не от Пушкина, с его духовной трезвостью и художественным самообладанием, а именно от Лермонтова, с его исканием полноты жизни, творческой свободы прежде всего.

Для русского романтизма характерно искание «покоя» (в смысле полноты жизни, а не ее замирания) именно через мятеж. Тот же мятеж найдем мы и у Л. Толстого с его бурным отрицанием цивилизации, у Достоевского в его отвращении к «буржуазному порядку», в мечтах героев у Чехова, в воспевании «безумства храбрых» у Горького. О лирике русской будет еще речь в последующих очерках, — но и сейчас ясно, что персоналистическая установка духа, с ее максимализмом, безграничной жаждой свободы, с потребностью творчески проявить себя, — все это впервые зазвучало действительно у Лермонтова. Это и есть самое яркое, но и самое драгоценное у него, — и дело здесь не в ницшеанстве и не в богоборчестве, а именно в самоутверждении личности, в ее законной потребности самопроявления. В стихах, посвященных памяти А. И. Одоевского, Лермонтов писал об Одоевском, что он сохранил

Веру гордую в людей и в жизнь иную.

Эта «гордая вера в людей» была присуща и самому Лермонтову, и она соответствует тому стилю персоналистической установки, который характерен для всей новой эпохи. Чтобы исторически понять это, надо вспомнить, что западная культура долго жила недоверием к человеку (начиная с блаж. Августина и кончая Лютером и Кальвином), — и острая реакция против этого литературно впервые была выражена Руссо — и по-другому, но столь же значительно, Шиллером в контексте того эстетического гуманизма, которого он вместе с Гумбольдтом был создателем⁴. Русский персонализм тем и романтичен донныне (его последним выразителем был Бердяев), что свободу он не отделяет от мятежа, «веру гордую в людей» не умеет соединить с смирением перед Богом. Мотив *Jenseits** и «жизни иной», в ином плане, заслоняется «поэзией земли» — и здесь не может быть и речи о том «соседстве с Богом», о котором замечтался Пушкин в горах Кавказа⁵.

* Потустороннего, трансцендентного (нем.). — Сост.

Я совсем не забываю о том, что религиозные мотивы не были чужды Лермонтову (как и другим русским романтикам), — скажу больше: русский романтизм религиозен, но чужд церковности. Если Мережковский почему-то отмечает, что у Лермонтова нигде нет имени Христа, то это, скорее, говорит в защиту религиозного целомудрия Лермонтова. Не он ли писал:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть...

Религиозный мир Лермонтова мало сказался в его лирике, хотя и пробивался в ней; вся душа Лермонтова, впрочем, была обращена к земле. Хотя и верно, что душа Лермонтова

Долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,

но эти чудные желания относились к земле, а не к *Jenseits*. Персоналистическая установка духа у Лермонтова напоена поэзией земли, не *Jenseits*, — но именно поэтому Лермонтов, как и большинство наших поэтов, настроен уныло. Но не равнодушные природы к людям (как у Пушкина, Фета, Тургенева), не бренность бытия (как у Державина, Баратынского), а пустота этой жизни мучает Лермонтова:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка.

Словно кто-то смеется над нами, над нашим вечным ожиданием идеала и правды. В поэме «Валерик», после описания жестокой стычки с горцами, после описания того, как умирал капитан, когда кругом «усачи седые» тихо плакали, Лермонтов пишет:

Тоской томимый,
Им вслед смотрел я, недвижимый,
.....
И не нашел в душе моей
Ни содроганья, ни печали.
.....

А там, вдали, грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
В своем наряде снеговом
Тянулись горы, и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек...
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?

То, как бессмысленно слагается и внешняя жизнь людей, и внутренний их мир, явно таит в себе что-то неверное. В признаниях Печорина есть место, которое бросает свет на это: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем же я жил? Для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в себе силы необъятные». В одном из ранних стихотворений Лермонтов написал:

Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я...⁶

Лермонтов не нашел для себя путей осуществления «необъятных сил», и оттого в другом месте он пишет:

Жмет сердце безотчетная тоска;
Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка.

Более глубоко то, что писал Лермонтов в одном из известных стихотворений «Мы пьем из чаши бытия...»⁸. Когда

...все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста
Была золотая чаша,
Что в ней напиток был — мечта
И что она — не наша!

И то и другое трагично: если то, чем красится жизнь, есть только наша же мечта, то есть за ним не стоит никакой реаль-

ности, то это трагично, как трагично и то, что «наша жизнь — не наша», то есть, что наше бытие вовсе не принадлежит нам. В этой мысли есть, впрочем, уже просвет — ведь если жизнь наша не принадлежит нам, то кому же она принадлежит? Не Тому ли, Кто есть источник всякого бытия? Но Лермонтов лишь приближался к этой мысли, не доводя ее до конца, — он слишком романтик, чтобы много думать о том, что есть над нами. А «мнимость» жизни, обманчивость наших мечтаний — этого искушения он не мог преодолеть (как преодолевал его Пушкин) — и он готов подчеркнуть еще сильнее неподлинность того, чем мы живы:

И ненавидим мы, и любим мы случайно
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом...

И оттого

И скучно и грустно — и некому руку подать
.....
В себя ли заглянешь
И радость, и муки, и все там ничтожно...

«Пламень безотрадный» (из ранней поэмы «Корсар») терзал душу Лермонтова, и он так молится:

О, Боже,
угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер;
.....
От страшной жажды песнопений
Пускай, Творец, освобожусь⁹.

Вот отчего

В сердце разбитом есть тайная келья,
Где черные мысли живут¹⁰.

Или в другом месте:

В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит¹¹.

Отдаться тому, что над нами, душа Лермонтова не могла; жажда самораскрытия, этот исконный мотив персонализма, тянет его к земным ценностям:

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земли и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно¹².

Но и счастье не дается — ведь оно только игра мечты, по собственному же признанию Лермонтова; оттого

Мне тягостны веселья звуки¹³, —

признается Лермонтов.

В поэме «Сашка» есть слова о «тщетной свободе пленных мыслей» — и это и придает трагический смысл персоналистическим исканиям Лермонтова. Он даже готов на минуту увлечься пантеистическими настроениями. В той же поэме «Сашка» читаем о смерти:

Пусть отдадут меня стихиям! Птица
И зверь, огонь и ветер, и земля
Разделят прах мой, и душа моя
С душой вселенной, как эфир с эфиром,
Сольется и развеется над миром!..

Подведем итоги.

Бесспорная гениальность Лермонтова, возглавителя плеяды русских лириков, намечает путь русского романтизма, который, правда, уводил русскую душу от той духовной трезвости и духовной ясности, которая так была свойственна Пушкину, но в то же время затронул силы души, дремавшие в ней до того. Русский романтизм в своей своеобразии имеет вообще двух возглавителей — Гоголя в прозе и Лермонтова в поэзии, и он еще не изжит, не преодолен, пока не придет гений, подобный Пушкину, чтобы дать русскому художественному творчеству простор, но и духовную силу — экстаз, но и духовную трезвость.

О Лермонтове мы не можем сказать того, что вполне оправданно для Пушкина, — что он был выдающимся мыслителем; но он был все же мыслителем. Будучи романтиком, он, в границах своего романтического восприятия мира, продумал до конца много тем; особенно это ясно в его прозаических вещах, в которых Лер-

монтов оставался романтиком; а что касается его поэзии, то в ней зазвучали впервые для русской души те мотивы персонализма, которым было дано пробудить драгоценнейшие движения в русской душе (как у Герцена, Достоевского, Бердяева). Есть в русской стихии мотивы и имперсонализма — мы их вскрыли уже в поэзии Тютчева; они тоже не случайны для русской души — Толстой, Соловьев, Франк заняты той же темой. Но от Лермонтова, и именно от него, идет другая линия в русском сознании, — мечта о том, чтобы люди были «вольны, как орлы».

Неукротимая, безграничная сила индивидуальности, которой нужен весь «необъятный» мир, — вот основа русского романтического персонализма, который не знает и не хочет знать того, что лишь с Богом и в Боге мы обретаем себя, реализуем свою личность. Романтический персонализм Лермонтова, Герцена, Толстого, Блока, Бердяева — это все та же «поэзия земли», поэзия земного бытия, все тот же гимн «существованию» переходящий в философский экзистенциализм. У Пушкина, жажда жизни у которого была не меньше, чем у перечисленных романтиков, было «благоговение перед святыней красоты»¹⁴ — эстетические переживания освобождали его от романтической скованности, от всего, что, будучи не выраженным, держит душу в оковах земли. Пушкин был мудр тем, что освобождался через духовную трезвость от ненасытимости подсознательных желаний, — отсюда и ясность души, и живое чувство того, что надо быть в «соседстве с Богом». Лермонтов же, а за ним и все русские романтики, хотя и жаждут эстетических переживаний, прямо нуждаются в них, но эти эстетические переживания не только не несут свободы духу, но еще больше сковывают его.

Своеобразие Лермонтова в том, что через его лирику, сквозь «магический кристалл» его поэтического восприятия мира, перед нами выступает трагедия романтического персонализма. Вся правда персонализма, все то, чем он полон, остается без воплощения — ибо человек свободен вовсе не как орел, который свободен в своих внешних движениях; человеку нужна еще свобода духа, то есть свобода с Богом. Верно, конечно, что чаша жизни, которую мы пьем, не наша, что наша личность не абсолютна, что она относится к сфере тварного бытия, — но именно потому, что мы принадлежим вовсе не себе, а Богу, именно потому есть глубочайшая неправда в остановке духа на самом себе. Мятеж не есть и никогда не может быть выходом — через мятеж нельзя достигнуть покоя. Лермонтов был и остается для нас связанным не запросами его личности, то есть не своим персонализмом; связывал его романтизм, его прикованность к земному бытию.